

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

*О. Б. Кафанова*ЛЮБОВНЫЙ БЫТ
“ЛЮДЕЙ СОРОКОВЫХ ГОДОВ”

В русской литературе и шире — в духовной жизни литераторов — “людей сороковых годов” происходило формирование новой любовной этики, направленной на утверждение демократических отношений между мужчиной и женщиной и претворение в жизни идей женской эмансипации.

Традиционно к “людям сороковых годов” относят послепушкинское поколение писателей, которые родились в период между 1810-ми и 1820-ми годами и чье духовное становление завершилось к началу 1840-х годов. Среди наиболее ярких фигур эпохи следует назвать Белинского, Герцена, Огарева, Грановского, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Некрасова, Григоровича. Это были люди разного характера и разной творческой судьбы, но общим для них было стремление к гуманности, защите прав любой угнетаемой личности.

Именно в это время часть российской интеллигенции осознала несправедливость общества и нормативной морали по отношению к женщине. И произошло это под непосредственным влиянием Жорж Санд. Дореволюционный историк культуры констатировал: “Жорж Занд сильно повлияла на изменение русской любви. В ее произведениях любовь возведена в идеал самого лучшего из человеческих чувств, и уважение к женщине освящено каким-то фанатическим культом” [1].

В романах французской писательницы, проникавших в Россию с начала 1830-х годов, утверждалась “святость” любви и оспаривалась “святость” брака, если он не основан на взаимном чувстве. В “Жаке” (1834) романистка впервые ввела в литературу мотив самоустранения мужа как способ разрешения коллизии любовного “треугольника”, пересмотрев при этом нравственную оценку изменившей своему долгу замужней женщины. А в “Орасе” (1841) Жорж Санд изобразила свой идеал брака, не освященного церковью, но основанного на доверии и уважении мужчины и женщины друг к другу.

Жоржсандовские идеи любви и брака, связанные с разрушением “священных устоев”, встретили поначалу резкий отпор российской общественности, находившейся в 1830-е годы под влиянием немецкой идеалистической философии. В следующее десятилетие в результате новых идейно-философских воздействий (и прежде всего утопического социализма) французская писательница стала для многих чуть ли не провозвестницей истинной нравственности. Жорж Санд “сделалась символом освобождения женщины, лозунгом борьбы против векового гнета, паролем, который был у всех на устах, всеми повторялся, всеми комментировался” [2]. Восторженный энтузиазм и неприязнь, граничащая с ненавистью, — такими взаимоисключающими были чувства к Санд читающей публики. Ее проблемные романы и герои повсюду обсуждались. “В то время, как отцы и матери негодовали на Жорж Занд, сыновья и дочери с жадностью читали её, увлекаясь её художественными образцами, её теплым чувством и светлыми идеями” [1, С. 267].

Из мемуарной и эпистолярной литературы эпохи известно, что жоржсандовская этика любви и брака стала ориентиром морально-бытового поведения прежде всего того круга людей, которые традиционно назывались “западниками”. Белинский и его единомышленники не только теоретизировали о необходимости изменения нравов и облагораживания семейных отношений, но и стремились воплотить новые идеалы в своей личной жизни.

Все, знавшие близко Белинского, отмечали его исключительную порядочность и нравственную чистоту. Очень интересны в этой связи письма Белинского к невесте, запечатлевшие драматический момент в его отношениях с будущей женой осенью 1843 года. Для М. В. Орловой, воспитанницы одного из московских институтов, высшим образцом поведения замужней женщины была Татьяна Ларина. Белинский уже в это время, задолго до изложения своего взгляда в печати (в девятой статье “Сочинения Александра Пушкина” в 1845 году) иронично отзывался о “благоразумии” “этой прекрасной россиянки” [3]. Пушкинской Татьяне он противопоставил Эжени, героиню романа “Орас”. Он воспользовался реминисценцией из этого произведения Жорж Санд, чтобы настроить будущую спутницу жизни на подражание героине, которая одновременно была возлюбленной, другом и гражданской женой Теофиля, а также отличалась самостоятельностью суждений и жизненной позиции [3, т. 12, С. 197]. Но невеста Белинского оскорбилась его замечанием о том, что он хотел бы видеть в ней “*ma bien-aimée, amie de ma vie, ma Eugénie*”. Её, по-видимому, возмутило сравнение с женщиной, которая жила с мужчиной в свободном союзе, не освящённом церковью.

Белинского глубоко опечалила такая реакция. Спор о литературных героях имел прямое отношение к жизни, а ситуация осложнилась новой проблемой. Невеста, по настоянию родных, требовала соблюдения всех необходимых церемоний: жених должен был приехать за ней в Москву, побывать на обедах у её родственников, а затем устроить свадьбу человек на 30–35 приглашенных.

Белинский пришел в настоящее отчаяние. “<...> что всего хуже, всего ужаснее, — отвечал он 1 октября, — это покориться обычаям шутовским и подлым, профанирующим святость отношений, в которые мы готовы вступить с Вами, обычаям, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натуре моей! У дядюшки обед! Будь прокляты все обеды, все дядюшки <...>” [3, т. 12, С. 193]. Он мечтал совсем о другом, и в его мечтах определённо выражалась жоржсандовская концепция “святости любви”. “По моему *кровному* убеждению, — сообщал он в письме от 2 октября, — союз брачный должен быть чужд всякой публичности, это дело касается только двоих — больше никого” [3, т. 12, С. 197]. Поэтому он просил свою Мари приехать к нему в Петербург, чтобы “тихо, просто, *человечески* обвенчаться в церкви какого-нибудь учебного заведения” в присутствии трёх-пяти друзей [3, т. 12, С. 193]. При этом Белинский пояснил, что смотрит “на этот образ как на необходимый *юридический* акт, и чем проще он совершится, тем лучше” [3, т. 12, С. 193–194].

Более всего он огорчился тому, что Орлова не оправдала его надежд найти в ней человека общих с ним взглядов, убеждений, интересов: “Не скрою от Вас <...>, что мне горько видеть в Вашей воле те самые предрассудки, которых Вы выше умом Вашим <...>. Что касается до моей статьи, то взгляды мои в ней Вы разделяете только *теоретически*: Ваше письмо доказывает, что на *практике* мы розно понимаем вещи” [3, т. 12, С. 195].

Речь шла о второй статье “Сочинения Александра Пушкина”, появившейся в сентябрьском номере “Отечественных записок”. В ней Белинский сделал большое отступление, посвященное исследованию любви как исторического и социокультурного понятия, и одновременно ясно высказал свой идеал. “Истинно-человеческая любовь”, по его убеждению, “теперь может быть основана только на взаимном уважении друг в друге человеческого достоинства”, которое “производит равенство, а равенство — свободу в отношениях. Мужчина перестает быть властелином, а женщина — рабой, и с обеих сторон устанавливаются одинаковые права и одинаковые обязанности” [3, т. 7, С. 160]. Эти убеждения абсолютно совпадали с размышлениями Теофиля и других жоржсандовских героев-протагонистов.

Горечь, разочарование Белинского сменялись надеждой, и его борьба за жену-друга в конце концов свелась к одному пункту: убедить её, пренебрегая “приличиями”, приехать в Петербург. А попутно он дискредитировал один символ — пушкинскую Татьяну — и утверждал другой — жоржсандовскую Эжени. “Вы чувствуете одно, веруете одному, а делаете другое, — писал он 4 октября. — <...> О, я понимаю теперь, почему Вы так заступаетесь за Татьяну Пушкина и почему меня это всегда так бесило и печаливало”. По его мысли, “любовь есть религия женщины, и нет для женщины высшего и более святого наслаждения, как всем жертвовать своей религии. Для неё свято всякое законное и справедливое требование того, которого она любит” [3, т. 12, С. 207].

Белинский приводил массу доводов, почему он не мог выехать в Москву: спешная работа для журнала, отсутствие денег были достаточно вескими причинами. Но ему было принципиально важно добиться от своей избранницы проявления независимости и вместе с тем доверия к себе.

“Вы на меня смотрите не как на человека, которого Вы любите (самый человеческий и поэтический взгляд!), а как на жениха (подлое слово)”, — сокрушался он в письме от 12 октября [3, т. 12, С. 215]. “Marie, моя добрая, моя милая Marie, — заклинал он, — <...> умоляю Вас: спасите меня от горя и отчаяния, сделайте меня вполне счастливым — приезжайте; но решитесь на это твердо, мужественно, проникнувшись чувством обязанностей, которые налагает на Вас любовь, если Вы любите меня” [3, т. 12, С. 218]. И пока Мари колебалась, полагая, что может “лишиться права на уважение общества”, Белинский из-за волнений серьезно заболел. А его возлюбленная, тоже заболев от душевных терзаний, боялась уподобиться Эжени: её ужасала возможность стать женой без соблюдения церковного обряда. И Белинский потратил немало сил, чтобы доказать, что с положением героини Жорж Санд у нее нет “ровно ничего общего” [3, т. 12, С. 226-229].

“Да, Marie, мы с Вами во многом расходимся, — печально констатировал он в письме от 13 октября. — Вы, за отсутствием каких-либо внутренних убеждений, обожествовали деревянного болвана общественного мнения и преусердно ставите свечи своему идолу, чтоб не рассердить его”. Восхищение Белинского вызывала Наталия Александровна Герцен, которая, по его мнению, “не побоялась бы познакомиться с Eugenie” [3, т. 12, С. 231]. Однако под угрозой потерять любимую женщину он, поступившись своими принципами, решил ехать к ней в Москву. Но неожиданно, 30 октября, выяснилось, что она сама выезжает в Петербург.

Счастье Белинского было непритворным. В коротком письмеце, служащем как бы эпилогом к драматической истории его женитьбы, он передал, как высоко оценил победу любимой над её страхами и предрассудками: “О, если бы Вы знали, сколько Вы делаете для меня этой поездкой и какие новые права приобретаете ею на меня и жизнь мою” [3, т. 12, С. 243].

Победителями в этом своеобразном поединке оказались оба его участника. Думается, правы те очевидцы, которые считали, что Белинский обрел в жене надежного друга, духовно ему близкого. По свидетельству А. В. Орловой, “жена Белинского имела <...> очень ясное понятие о значении своего мужа, которого любила и уважала глубоко”. А он, в свою очередь, “очень ценил и литературный вкус и такт жены и подчас удивлялся меткости и верности её суждений” [4].

Белинскому и в семейной жизни удалось остаться “чистой личностью, без пятен”. Мысли и теории его не расходились с делом. Ученик Белинского, впоследствии видный публицист и правовед, К. Д. Кавелин вспоминал: “Он имел на меня и на всех нас чарующее воздействие, <...> это было действие человека, который не только шёл далеко впереди нас ясным пониманием стремлений и потребностей того мыслящего меньшинства, к которому мы принадлежали, не только освещал и указывал нам путь, но всем своим существом жил для тех идей и стремлений, которые жили во всех нас, отдавался им страстно, наполнял ими все свое бытие” [5]. По свидетельству Кавелина, Жорж Санд была “евангелием” в их литературном кружке [5, С. 182]. И Белинский, воплощая те высокие нравственные идеи, которые он проповедовал в печати, в своём отношении к жене, мог служить образцом для окружающих.

Кульť Жорж Санд “царил” и в кружке московских “западников”. Новые идеалы любви и брака ясно выражены в письмах Н. Н. Огарёва к его первой жене, урожденной Рославлевой. Оказавшись в ситуации, близкой коллизии “Жака”, он почти буквально повторял слова-верования этого героя: “<...> мы не можем, — писал он 18 июля 1840 года, — оставаться в отношениях тупых и пошлых мужа и жены, а должны быть товарищами, друзьями, любовниками” [6]. Повидимому, Огарёв безоговорочно принял идею освобождения женщины, которая для него прежде всего реализовывалась в предоставлении ей свободы чувства. С другой стороны, как поэт-идеалист “сороковых годов”, единственно достойным поведением мужчины, которого разлюбила его жена, Огарёв считал подавление эгоистических чувств и даже отказ от супружеских прав во имя её счастья. Он был готов на подобное самопожертвование. В том же письме он уверял жену: “<...> если бы ты перестала меня любить *en amante* (как любовница — франц.) и была бы увлечена другим, если б я вынес это — я был бы лучшим твоим другом, и тот должен бы сделать тебя счастливою под опасением смертной казни. В святость брака я не верю — а в святость любви верю. <...> я тебя люблю, как друга, подругу, моего ребенка” [6, С. 453 - 454].

Узнав, что его женой увлечен И. П. Галахов, Огарёв не стал высказывать ревности, поскольку “истинная любовь не надевает оков, но только симпатизирует со всеми движениями любимой души”. Он смог возвыситься над мелочной мстительностью и “благословил” своего друга Галахова за “все минуты душевной симпатии”, которые с ним провела его жена [6]. М. Л. Огарёва принадлежала к тем женщинам, которые попытались “осуществить в самой жизни новое женское сознание”, избрав, по выражению М. О. Гершензона, “революци-

онный” путь. Он означал “полный выход из традиционного взгляда на долг и назначение женщины, другими словами — полную свободу любви и притязание на самостоятельное, равное с мужчиной место в общезнании, в умственной деятельности и пр., независимо от любви и материнства” [7].

А. И. Герцен, описывая в “Былом и думах” мучительный для своего друга период разрыва с женой, точно подметил отсутствие в Марье Львовне цельного, выработанного собственными раздумьями нравственного чувства. “Её растрепанные мысли, — свидетельствовал он, — бессвязно взятые из романов Ж. Санда, из наших разговоров, никогда ни в чём не дошедшие до ясности, вели её от одной нелепости к другой, к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность” [8].

Е. М. Феоктистов, в молодости близкий к передовым литературно-философским кружкам 40-х годов, в своих воспоминаниях приводил скандальный факт, связанный с М. Л. Огарёвой. С его слов, из всех друзей мужа она высоко ценила только М. Н. Каткова, который в неё страстно влюбился. “Однажды известный М. Бакунин вошел в кабинет м-ме Огарёвой и увидел, что Катков сидит на скамейке у её ног, положив голову на её колени <...> Произошло неприятное объяснение, и Катков порвал всякие отношения с кружком” [9]. Мемуарист, ставший высокопоставленным чиновником и консерватором, не без язвительности прокомментировал этот эпизод. Его удивляло возмущение “друзей Николая Платоновича”: с точки зрения “их теорий, не следовало бы им, кажется, обнаруживать большую строгость в этом случае; проповедь Жорж Занд приводила их в восторг” [9, С. 84 – 85].

Очевидно, что Огарёва провоцировала рискованные ситуации. Для многих знавших её сородичей она стала олицетворением распушенности. Не давая мужу согласия на развод, она поселилась в Париже со скульптором С. Воробьёвым. Её эмансипированность приобрела характер намеренного вызова. Не без явной гордости она писала в своем дневнике: “Свету я никогда ничего не уступила — ни одного желанья, ни одного из своих убеждений, ни одного порыва любви, ни одной из моих шалостей” [7]. За намеренное бравирование общественным мнением Огарёву не любил И. С. Тургенев, едко назвавший её “плешивой вакханкой” и заклеивший её поведение в созданной им “литературной копии” — образе Варвары Павловны Лаврецкой в романе “Дворянское гнездо” [7, С. 56].

Иначе, глубоко и осознанно, воспринимала жоржсандовские идеи жена Герцена. Богатый материал для представления о духовном состоянии Наталии Александровны дают её дневниковые записи, которые Герцен предполагал напечатать в “Былом и думах” (в виде приложения к главе XXXII). Один фрагмент в дневнике — 13 ноября 1846 года — посвящен “Лукреции Флориани”, пожалуй, самому дискуссионному роману Жорж Санд. Главная героиня, актриса, имевшая четверых детей от разных мужчин, изображалась в нём существом благородным. Истинная любовь, не осквернённая корыстолюбием и расчётом, не могла, по мысли автора, унижить или запятнать женщину. Именно это произведение вызвало наиболее ожесточённые споры между почитателями и противниками Жорж Санд. Восторженный отзыв Н. А. Герцен свидетельствует о том, что ей было свойственно новое понимание женской чистоты и порядочности: “О, великая Санд, так глубоко проникнуть человеческую натуру, так смело провести живую душу сквозь падения и разврат и вывести её невредимую из

этого всепожирающего пламени. Ещё четыре года тому назад Боткин смешно выразился об ней, что она Христос женского рода, но в этом правды много. Что бы сделали без нее с бедной *Lucrezia Floriani*, у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она за- была и не хотела знать, где они?... Слышать об ней считали б за вели- кий грех, а она ставит её перед вами, и вы готовы преклонить коле- на перед этой женщиной” [8, т.9, С. 274].

Далее Н. А. Герцен сделала добавление, парадоксальное для русской женщины-матери: “О, если б не нашлось другого пути, да падёт моя дочь тысячу раз — я приму её с такой же любовью, с таким же уважением, лишь бы осталась жива её душа: тогда всё перегорит, и всё сгорит нечистое, останется одно золото” [8, т.9, С. 274]. “Падение” она воспринимала как очищение, если в результате него не про- исходило разрушения личности. Женщина, пережившая эту катастро- фу и сохранившая человеческое достоинство, заслуживала, по её мне- нию, глубокого уважения.

А. И. Герцен высоко ценил в своей жене личность, замечатель- ную не только душой, но и умом. По-настоящему гуманное отноше- ние к женщине, жене сделало его брак гармоничным союзом равно- правных личностей, сочетающих высокую одухотворенную страсть, взаимоуважение и взаимопонимание. Именно поэтому несчастное ув- лечение Натали немецким поэтом Георгом Гервегом не смогло его разрушить. Безупречно честное поведение супругов по отношению друг к другу на протяжении всей любовно-семейной драмы, расска- занной в “Былом и думах”, заставляет вспомнить самоотверженные поступки благородных литературных персонажей Жорж Санд.

Любовный треугольник Гервег — Натали — Герцен возник в 1848–1851 годах, во время душевного кризиса молодой женщины, свя- занного с крушением её романтического сознания. Мучительное су- ществование в этой коллизии в течение нескольких лет стало испыта- нием достоинства для каждого из трёх её участников. Для самого Гер- цена, со страхом разглядевшего в дружбе Гервега с его женой начало страсти, главное заключалось в том, чтобы остаться на “высоте”, ве- сти себя “человечески”. Поначалу он ждал, что тот, кого он считал своим другом, честно объяснится, но объяснения не последовало. Тогда он решился прямо обратиться к жене, потребовав от неё само- анализа: “Не отворачивайся от простого углубления в себя, не ищи объяснений, диалектикой не уйдешь от водоворота — он всё же утянет тебя. <...> Теперь всё ещё в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. Подумай, что после того, как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову, *Гервег войдет фальшивой нотой в наш аккорд — или я*” [8, т. 10, С. 255].

Эти строки мог написать человек, глубоко чтивший свою жену, видевший в ней союзника и помощника в поисках выхода из сложной ситуации, в которой она, с общепринятой точки зрения — светской и христианской — сама была повинна. Но оскорблённый в своих чувст- вах муж демонстрировал беспримерную силу духа, не позволяя себе вспышек злобности и мстительности. Герцен выказал невероятное да- же для Натали благородство. “*Я готов ехать с Сашей (старшим сы- ном — О. К.) в Америку, потом увидим, что и как... Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; здесь мне будет ещё тяжелее — и я не выне- су*”, — писал он [8, т. 10, С. 225]. Он предложил своей жене в случае, если она выберет Гервега, самоустраниться. Не покончить с собой, как это сделал Жак (тем более, что в отличие от жоржсандовского ге- б. Вестник ТГУ. Гуманитарный специальный выпуск. Январь 1998.

роя, на нём лежала ответственность за детей), но исчезнуть, дав ей возможность попытаться счастья с другим.

Разумеется, поведение Герцена не могло быть прямой, осознанной проекцией на сюжетную линию Жака, но все приверженцы гуманной этики брака почитали этого героя за образец для подражания. Молодой Чернышевский, разговаривая с Ольгой Сократовной, тогда ещё его невестой, “о своих понятиях о супружеских отношениях”, разъяснил их в контексте сюжета романа Санд. В “Дневнике моих отношений с тою, которая теперь составляет моё счастье” (1853) он записал такой диалог:

— Неужели вы думаете, что я изменю вам?

— Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай.

— Что ж бы вы тогда сделали?

Я рассказал ей Жака Жорж Занда.

— Что ж бы вы тоже застрелились?

— Не думаю; и я сказал, что постараюсь достать ей Жорж Занда (она не читала его или во всяком случае не помнит его идей)” [10].

Предполагая возможную страсть своей будущей жены к другому, Чернышевский как бы давал себе обет руководствоваться в этом случае заботами только о её благе. “Я буду, — записал он в том же “Дневнике” 14 марта 1853 года, — любить её, как отец любит свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит свою милую. А если предмет её страсти будет недостойн её? Тем скорее кончится эта связь, тем более она будет привязана ко мне” [10, т. 1, С. 8].

Герцен, очутившись в реальном любовном треугольнике, проявил максимум великодушия и пережил всю гамму чувств, от отеческого сострадания к мукам жены, до страстного желания отстоять свою любовь. 1851 год оказался кульминационным в его драме.

Описывая самый жестокий свой разговор с Natalie, он привёл свои обидные слова о детях, которых она забыла. “Я был слишком раздражён, чтобы человечески понимать смысл слов”, — признавался он. “Дикие порывы мести, ревности, оскорблённого самолюбия” “пьянили” его [8, т. 10, С. 261]. И в этот страшный момент настоящего бешенства, он взглянул на жену, состояние которой было ещё более ужасным. И всё эгоистическое, собственническое отступило перед жалостью к ней: “Меня угрызала совесть — я чувствовал себя инквизитором, палачом... то ли надобно было — это ли помощь друга — это ли участие; и так, со всем развитием, со всей гуманностью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог представлять какого-то Рауля Синюю Бороду” [8, т. 10, С. 261–262].

Это описание лучше всяких теоретических объяснений показывает, что фундаментом отношений Герцена к жене было глубокое дружеское сочувствие, понимание суверенности её внутреннего мира и уважение её прав. По-видимому, для Герцена давно аксиомой стала отстаиваемая Жорж Санд этика брака. Наверное, он мог бы подписаться под словами Жака: “Человек не властен над своим сердцем, никого нельзя считать преступником за то, что он полюбил или разлюбил. Унижает женщину только ложь” [12].

Самобичевание Герцена, забвение самого себя, собственных страданий было вдохновлено уважением к любимой женщине, в которой он видел не виновную в прелюбодеянии, а несчастную жертву непредсказуемости человеческой природы и конкретного недостойного человека. Герцену удалось отстоять брак, любовь и уважение жены,

но не насилием и ложью, а благородством и честностью своего поведения.

Не без влияния идей Жорж Санд сложился и известный любовный треугольник И. И. Панаев — А. Я. Панаева. — Н. А. Некрасов. Исследователи, специально разбиравшиеся в этой любовно-семейной коллизии, опровергали обывательское мнение о легкомыслии и доступности главной её “виновницы”. К. И. Чуковский, скрупулезно собравший разнообразные свидетельства современников, создал на страницах своей книги “Жена поэта” (1922) обаятельный образ красивой, умной, доброй и правдивой женщины. Ни о каком “бездумном адюльтере” между Панаевой и Некрасовым не может быть и речи, — утверждает Н. Н. Скатов [12]. Наоборот, влюбившийся в неё двадцатилетний Некрасов чуть не покончил с собой, когда она его отвергла [13]. И ему потребовалось несколько лет, чтобы добиться взаимности, причём “победе” Некрасова помогло и пренебрежение И. Панаева к молодой жене, которое многие, наблюдавшие их семейную жизнь, отмечали с самых первых ее месяцев. К. И. Чуковский размышлял: “<...> нужно не тому удивляться, что она в конце концов сошлась с Некрасовым, а тому, что она так долго с ним не сходилась. Они познакомились в 1843 году. <...> Но она не сразу уступила его домоганиям, а до странности долго упорствовала. <...> Этот любовный поединок продолжался с 1843 года по 1848-ой” [13, С. 17].

“Классический треугольник (муж, жена, “друг семейства”) предстал в комбинациях совсем не классических”, — замечает исследователь [12, С. 124]. После того, как А. Я. Панаева стала гражданской женой Некрасова, её “юридический муж” Панаев не только остался “фактическим другом обоих”, но проживал с ними в одном доме на одном этаже, а также до конца жизни (1866) оставался соредактором и деятельным участником “Современника”. Такое “мирное” разрешение любовной коллизии объяснялось, конечно, не только “божественным легкомыслием” Панаева, но и органичным усвоением принципов новой нравственности всеми тремя её участниками. Из-за отсутствия достоверных материалов исповедального характера — писем, дневников, освещающих психологию каждого из “персонажей”, — можно лишь с известной долей домысла попытаться её реконструировать. Но одно несомненно: почитая “культ” Жорж Санд, многое делая для его утверждения в “Отечественных записках”, а потом “Современнике”, все трое должны были вполне разделять мысль о “святости” любви и гнусности брака, не проникнутого этим чувством, и оправдывать его расторжение. При таких нравственных убеждениях влюбленный Некрасов не мог чувствовать себя бесчестным, добиваясь жены своего приятеля (или друга?). Тем более, что он наблюдал странности супружеских отношений Панаевых вблизи. Настойчивая и упорная страсть молодого Некрасова, по-видимому, пробудила ответное чувство в Авдотье Яковлевне.

С точки зрения окружающих, соединяясь с Некрасовым, Панаева совершала, чуть ли не акт самопожертвования. “Панаев был человек истинно порядочный, порядочной фамилии и порядочных связей, — вспоминал один из современников, — наружность его была весьма красивая и симпатичная, тогда как Некрасов имел вид истинного бродяги и по наружности, и по общественному положению” [14]. Даже Т. Н. Грановский, ценивший ум и обаяние А. Панаевой, считал её связь с Некрасовым несчастьем для неё. “Жаль этой бедной женщины, — писал он жене 11 января 1851 года. — В ней до сих пор много ума и доброты истинной, но что за понятия? Видно, что над нею тяготеет

грубое влияние необразованного, пошлого сердцем человека” [15]. Этот мотив жалости к прекрасной женщине, погубленной недостойным мужчиной, проходит через все письма Грановского, написанные под впечатлением встреч с ней [15, С. 288–289].

Можно предположить, что поначалу сама Панаева видела в своём гражданском браке с Некрасовым аналогию с идеальными союзами, изображенными Жорж Санд в “Орасе”. Теофиля и Эжени связывала не только и не столько страсть, сколько взаимное уважение, общность духовных интересов и мировосприятия. “Медовые месяцы” Панаевой и Некрасова “протекали в хлопотливой работе” [13, С. 18]. Их взаимопонимание было настолько полным, что они написали в соавторстве два романа. Первый из них — “Три страны света” (1848) — имел большой читательский успех и значительно увеличил число подписчиков “Современника”, для которого он и был написан. В хозяйственном и деловом отношении Панаева оказалась “кладом” для Некрасова. “Она читала, рукописи, держала корректуры, прикармливала нужных сотрудников”. Она до тонкости постигла стиль разных обедов, даваемых Некрасовым в редакции “Современника”. Выйдя из актёрской семьи, она артистично играла все роли: с семинаристами была “демократически проста”, с генералами — “великосветская барыня” [13, С. 20].

И тем не менее вскоре их совместная жизнь превратилась в ад. Гармоничного союза не получилось, и, судя по всему, не по вине женщины. Некрасов явно “не дотягивал” до уровня идеального героя, способного дать счастье и спокойствие своей подруге в сложной “незаконной” ситуации. “Самоистязатель, каждое свое чувство превращающий в казнь, он и любить умел только мученически, только мучительно”, — заключал Чуковский [13, С. 13]. А Н. Н. Скотов объясняет мрачный, трагический характер любви Некрасова болезненным чувством “несостоявшегося отцовства” [12, С. 130–133]. Вероятно, вся любовно-семейная драма развивалась бы иначе, если бы живыми были рожденные от первого и второго союзов дети. Панаев, незадолго до своей смерти, уговаривал свою бывшую жену покинуть Петербург и поселиться вместе с ним в деревне. Он умер на её руках, прося о прощении [16]. А эпилогом этой почти романической истории стал неожиданный для Некрасова “законный” брак Панаевой с его секретарем А. Ф. Головачёвым, принесший ей счастливое материнство.

Н. П. Огарёв в конце 1849 года стал “инициатором” ещё одной в его жизни любовной драмы, развивающейся под знаком Жорж Санд. Окончательно расставшись со своей женой, он влюбился в Н. А. Тучкову, дочь управляющего своим имением. Но поскольку М. Л. Огарёва-Рославлева категорически не давала согласия на развод, а вела с Огарёвым судебную тяжбу о денежной компенсации, не могло быть и речи о венчании. Девушка (Наталье Тучковой было всего двадцать лет) оказалась в мучительном положении. Её отец, несмотря на свои демократические убеждения, был против “нелегального” союза. Он настаивал на его освящении в любой церкви, католической или протестантской.

Давая 4 марта 1850 года показания во время своего ареста по подозрению в революционных симпатиях, А. А. Тучков однозначно высказал своё неприятие новых тенденций разрушения “святости” брака. На предложенный вопрос: “Справедливо ли, что вы опровергали религию, таинство брака, посты и другие обряды церкви; осуждали всё, что в России несходно с заграничными обычаями и поста-

новлениями?" он ответил, по-видимому, вполне искренне: "Всю мою жизнь я провёл в религиозных убеждениях и никогда слова не говорил против религии. Таинство брака я не только уважал в глубине сердца моего, но говорил против безумства новейших писателей, из которых Жорж Занд старалась уменьшить влияние религии на это таинство" [17].

Пример Тучкова показывает, что в 1840-е годы фактически каждый образованный россиянин был знаком с идеями Жорж Занд о любви и браке, потому что они касались сокровенных основ бытия любого человека, обнажали в традиционном семейном укладе много варварского, животного, унижительного и заставляли пересматривать привычные понятия, преодолевать стереотипы поведения. И каждый производил эту переоценку с большей или меньшей пользой для себя и своих близких, в зависимости от индивидуальных склонностей, ума, темперамента, общего развития. Именно в сороковые годы прошлого столетия началась настоящая "революция" в любовной этике, а многие возникшие в ходе неё дискуссии остаются актуальными и по сей день.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шашков С. С. История русской женщины. – СПб., 1879. – С. 270.
2. Бразоленко Б. Лекции по истории и литературе. Русская женщина в жизни и литературе. – СПб., 1908. – С. 32.
3. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. – М., 1956. Т. 12. – С. 191.
4. Орлова А. В. Из воспоминаний о семейной жизни В. Г. Белинского // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 597.
5. Кавелин К. Д. Воспоминания о В. Г. Белинском // Там же. – С. 180.
6. Н. Н. Огарёв — невесте и впоследствии жене его, М. Л. Рославлевой // Любовь в письмах выдающихся людей XX и XIX века. – М., 1990. – С. 453.
7. Гершензон М. О. Русская женщина 30-х годов // Русская мысль. 1911. Кн. 12. Декабрь. – С. 55.
8. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1956. Т. 9. – С. 15.
9. Воспоминания Е. М. Феофистова. За кулисами политики и литературы 1848-1896. – Л., 1929. – С. 84.
10. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. – М., 1939. Т. 1. – С. 528-529.
11. Занд Жорж. Собр. соч.: В 9 т. – Л., 1971. Т. 3. – С. 247.
12. Скотов Н. Н. Некрасов. – М., 1994. – С. 125.
13. Чуковский К. И. Жена поэта. (Авдотья Яковлевна Панаева). – Пг., 1922. – С. 5.
14. Записки Василия Антоновича Инсарского // Русская старина. 1895, Январь. №1. – С. 112.
15. Т. Н. Грановский и его переписка. – М., 1897. Т. 2. – С. 284
16. Панаева А. Я. Воспоминания. – М., 1986. – С. 314-316.
17. Черняк Я. З. Огарёв, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огарёвском наследстве. [Дело Огарёва — Панаевой]. По архивным материалам. – М.; – Л., 1933. Ч. 2. – С. 430-431.

В. А. Доманский

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ¹

Культуру можно рассматривать как форму одновременного бытия и общения людей разных времен, эпох. В культуре человек заново открывает мир, обретает его лично для себя, интериоризируя, переводя во внутренний план, присваивая его. Обретение этого мира

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 97-06-8260.